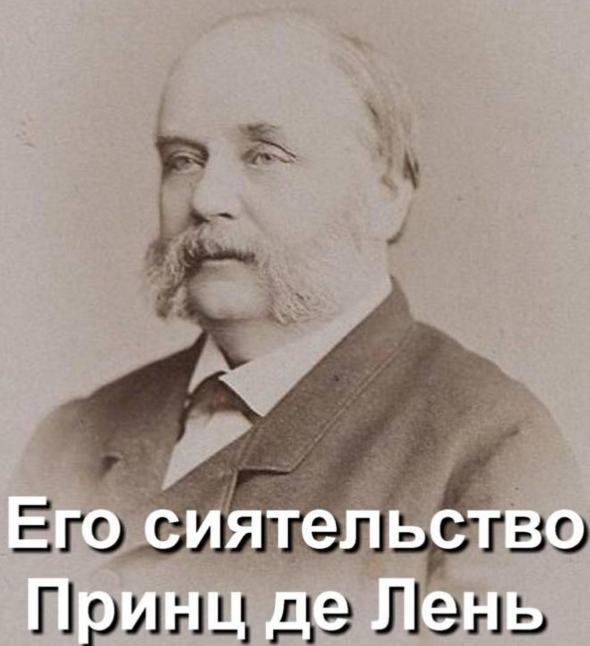


Цецен Балакаев



**Его сиятельство
Принц де Лень**

**Венок-панегирик на чело
Ивана Александровича
Гончарова**

С. Балакаев

Цецен Балакаев

Его сиятельство Принц де Лень

<https://litres.ru/74042928>

SelfPub; 2026

Аннотация

Венок-панегирик на чело Ивана Александровича Гончарова. Двенадцать рассказов о писателе, которые он не написал, но мог бы написать или не написать.

Он не ходил в театр, хотя собирался. Не встал с дивана, чтобы встретить Музу, хотя она явилась к нему на дом. Он ел щи, гонял мух, спорил с цензорами, беседовал с дворником, вспоминал море и засыпал над газетой.

Его звали Принцем де Лень. Он служил тридцать лет чиновником и ненавидел службу. Он плавал вокруг света и описал это в книге, которая стала памятником его ленивой, но гениальной душе.

Здесь нет истории жизни, нет анализа творчества. Здесь – голос. Тот, который слышат только те, кто умеет молчать. И читать, когда не лень.

Вагрушки остывают. Мухи кружат. Марфа ворчит. А Его Сиятельство возлежит на облаке, похожем на продавленный диван, и принимает в приёмные часы – с часу до трёх. Но приходит лучше во сне, когда нет надобности открыть глаза.

Тем, кто любит Гончарова, кто хочет понять, почему лень – это не порок, а призвание.

Цецен Балакаев

Его сиятельство

Принц де Лень

Цецен Балакаев

«Его сиятельство Принц де Лень»

Венок-панегирик на чело Ивана Александровича Гончарова к дню его рождения

Двенадцать рассказов об Иване Гончарове, которые он не написал, но мог бы написать или не написать

Он не ходил в театр, хотя собирался. Не поехал в Кронштадт, хотя звали. Не встал с дивана, чтобы встретить Музу, хотя она явилась к нему на дом. Он ел щи, гонял мух, спорил с цензорами, беседовал с дворником, вспоминал море и засыпал над газетой.

Его звали Принцем де Лень – за любовь к комфорту и нерасторопность. Он написал «Обломова», в котором узнал себя. Он служил тридцать лет чиновником, цензором, редактором – и ненавидел службу. Он плавал вокруг света и описал это в книге, которая стала памятником его ленивой, но гениальной душе.

Двенадцать рассказов. Двенадцать дней из жизни тайного советника, кавалера ордена Владимира, автора трёх романов и одного бесконечного лежания на диване.

Здесь нет истории жизни. Нет анализа творчества. Здесь – голос. Тот, который слышат только те, кто умеет молчать. И читать, когда не лень.

Ватрушки остывают. Мухи кружат. Марфа ворчит. А Его Сиятельство возлежит на облаке, похожем на продавленный диван, и принимает в приёмные часы – с часу до трёх. Но приходить лучше во сне, когда нет надобности открыть глаза.

Для тех, кто любит Гончарова. Для тех, кто его не читал. Для тех, кто хочет понять, почему лень – это не порок, а призвание.

Предисловие

К дню рождения Ивана Александровича Гончарова
18 июня 2026 года ему бы исполнилось двести сорок
двадцать.

Он не считает. Ему незачем. На небесах – ни календарей, ни цензуры, ни «Северной почты». Только вечный покой, вечный диван и лёгкая, ничем не омрачённая возможность ничего не делать.

Я написал эти двенадцать рассказов не потому, что знал Гончарова. Я не знал. Никто из ныне живущих не знал. Я на-

писал их потому, что *узнавал* его – в каждой строке «Обломова», в каждом скрипе корпуса фрегата «Паллада», в каждом молчании между фразами его писем. Он был чиновником, который ненавидел службу. Писателем, который ленился писать. Человеком, который любил – но не жертвовал. Который умел чувствовать – но предпочитал лежать.

Это не биография, а попытка услышать *голос*. Тот самый, негромкий, чуть насмешливый, усталый, который говорит: «Не торопитесь, судари. Успеется. Всё успеется. Даже смерть».

Гончаров был принцем без королевства. Ленивым гением, который подарил миру Обломова – и тем самым оправдал всех, кто когда-либо хотел просто лечь и не вставать. Не потому, что устал. А потому, что понял: в беге нет правды. Правда – в покое.

Эти рассказы – не памятник. Памятники стоят на улицах, и на них садятся голуби. Это – диван. Продавленный, с косо висящей картиной, с вылезавшими пружинами. На него можно сесть рядом. И помолчать.

Иван Александрович, простите, что разбудили. Простите, что приписали вам мысли, которых вы, может быть, не думали. Разговоры, которых не вели. Сказку про королеву Мушку, которую вы, кажется, и правда могли бы рассказать.

Но мы вас *узнали*. И это главное.

С днём рождения, Ваше Сиятельство.

Ватрушки остыли. Муха села на чернильницу.

Пора на диван.

Его сиятельство Принц де Лень

Лето выдалось душным, каждый день как перед грозой.

Иван Александрович Гончаров – грузный, с мягкими плечами на темени и вечно заложенными за спину руками – стоял у окна своей квартиры на Моховой и смотрел, как дворник Пахом хлещет мокрой тряпкой по пыльным булыжникам. Дворник старался, но выходило лениво: раз, другой, передохнул, почесал затылок. Гончаров вдруг улыбнулся – своей, знаете, медленной улыбкой, как будто солнечное пятно ползёт по стене.

– Ишь ты, – сказал он одними губами. – Мой собрат.

Он думал в эту минуту не о литературе. Он думал о том, что вчера нанесли визит гости – молодые литераторы из кружка Майкова. Галдели, сверкали пенсне, спорили о Белинском и будущем России. А он, хозяин, сидел в кресле – диван уже не мог, болела поясница – и слушал их, как слушают дальний гром: с любопытством, но без желания встать и посмотреть. Потом Аполлон Майков, уже немолодой, с сединой в бороде, наклонился к его уху и шепнул:

– А помнишь, Иван, как мы звали тебя в сороковых? Принц де Лень. Ты тогда обиделся. А зря – это была ласка.

Гончаров помнил. Молодой, тридцатилетний, он пришёл в дом Майковых – учить их сыновей. И сразу попал в во-

дворот: рукописные журналы, акварели, стихи на французском. Супруга хозяина, Евгения Петровна, сама подносила ему чай в тонкой чашке и называла «душа моя». А он – полный, тихий, с волосами, которые уже тогда редели, – стеснялся, краснел, медлил с ответом, как будто слова должны были пройти долгий путь через всю Россию, прежде чем сорваться с губ.

И вот тогда кто-то – кажется, Валериан, старший сын, живописец – и сказал, рассмеявшись:

– Глядите, это не человек, это Их Сиятельство Принц де Лень. Шевелится – но как бы нехотя, из снисхождения к географии.

Все засмеялись. Гончаров не обиделся. Он даже почувствовал что-то вроде гордости: принц – это всё же титул. В России, где каждый лез из кожи вон – служить, писать, любить напоказ, спорить до хрипоты, – он был тихим островом. И люди тянулись к этому острову, потому что на острове не надо было бегать.

Он отошёл от окна, подошёл к дивану – тому самому, уже продавленному, с косо висевшей картиной над ним – и опустился на подушки. Из-под дивана сами собой выкатились туфли-шлёпанцы. Гончаров посмотрел на них, вздохнул и не надел.

– Успеется, – сказал он в пространство.

Тут как раз прибежала девочка – Саня, дочка его покойного слуги. Ей было семь или восемь, она путала «л» и «р», но

по-французски уже читала прилично. Она влетела без стука, запыхавшаяся, с косичкой набекрень, и выпалила:

– Иван Александрыч, а у нас в кухне Марфа ватрушки печёт, и говорит, что если вы не сядете за стол, она уйдёт к заутрене и больше не вернётся!

Гончаров поднял бровь. Марфа – кухарка, бабища крутобокая, громогласная, крепостная в прошлом, – пугала его уходом каждый день. И ни разу не ушла. Она была его главным жизненным двигателем, потому что стыдно перед прислугой. Стыдно быть принцем, когда рядом Марфа с ухватом.

– Скажи Марфе, Сандрильона моя, – сказал он мягко, – что я иду. Но не сразу. Пусть ватрушки остынут. В горячем виде они обжигают нёбо, а старикам положено беречь нёбо.

Девочка фыркнула, точь-в-точь как Марфа, и убежала.

Гончаров же остался сидеть. И думал – не о ватрушках, не о статьях, не о симбирском имении, которое он видел всего дважды за тридцать лет. Он думал о том, как странно устроена жизнь: его зовут принцем – а он живёт в «пещерке», как он сам называл эту квартиру на первом этаже, где сквозняки гуляют и пыль лениво садится на фолианты. Его считают великим писателем – а он любит сидеть с детьми, делать с ними уроки, водить под руку по вечерам в сумерки, потому что плохо видит и боится упасть. В нём нет ни капли барского высокомерия – он говорил с Майковыми как с равными, с дворником Пахомом как с равными, с Санькой как с равной.

Отчего так? Отчего он не чувствует надобности нависать, давить, доказывать? Может быть, потому, что лень – великая учительница смирения. Кто много лежит, тот видит, что все люди одинаковой высоты, когда лежат рядом.

Он наконец пошевелился. Надел туфли. Поправил сюртук. Прошёл в столовую, где Марфа уже ставила на стол румяные ватрушки, где Саня капризничала, что ей первый кусок не достался, а вторая девочка, поменьше, спала прямо за столом, уронив голову в тарелку.

Гончаров сел, взял ватрушку, подул.

– Дети, – сказал он тихо, – а я сегодня принца вспоминал. Не себя. Настоящего. Де Линя. Он говорил: «Ничто так не старит, как желание казаться молодым. И ничто так не молодит, как умение ничего не делать». Так вот, дети. Я стареть не собираюсь. И вы не торопитесь.

Марфа за спиной всхлипнула – то ли от умиления, то ли от дыма из печи. Пахом за окном уронил тряпку и не поднял. А Гончаров откусил ватрушку, зажмурился от удовольствия и подумал: «Вот оно. Счастье. Тёплое. С изюмом».

И улыбнулся по-обломовски – широко, счастливо, никуда не торопясь.

Щецен Балакаев

Принц де Лень и его маленький рыцарь

Однажды, в летнюю пору, когда петербургский воздух ста-

новится тягучим, как варенье, а тени на Моховой удлиняются с какой-то ленивой неохотой, Иван Александрович Гончаров сидел в своём кресле у раскрытого окна. За окном мальчишки гоняли в бабки – звонко, глупо, радостно; дворник Пахом с достоинством флегматика поливал мостовую; где-то вдалеке дребезжала пролётка. Гончаров жевал сухарь, запивал его слабым чаем и думал о том, что хорошо бы сейчас никуда не ехать, ничего не писать и даже не думать – вовсе.

Но думалось само.

В дверь постучали. Три коротких, почтительных удара. Это был его крестник – мальчик лет десяти, сын покойного камердинера, которого Иван Александрович по странной прихоти судьбы и собственной мягкой нерасторопности взял на попечение. В народе таких называют «из милости», но Гончаров не терпел этого слова. Мальчик держал в руках письмо.

– От барина с Симбирской, – выпалил он и замер, глядя на писателя снизу вверх. Глаза у мальчика были быстрые, тёмные, совсем не петербургские – такие же быстрые, какими сам Гончаров тридцать лет назад смотрел на приволжские разливы.

Иван Александрович развернул письмо неторопливо, бережно разгладил лист – бумага была плотная, купеческая, пахла дальней дорогой и чуть-чуть яблоками. Писал старший брат: «Имение, мол, скучает по хозяину, пора бы, пора, Иван, навестить, а то ведь и мы не вечны». И далее – длин-

ный перечень того, что обветшало, прохудилось, заросло лебедой.

Гончаров вздохнул, отложил письмо на край стола – туда, где лежали ещё три таких же, непрочитанных, неотвеченных, присыпанных пылью. Потом, словно спохватившись, поглядел на мальчика и сказал тихо:

– Садись-ка, Саня. Ответа пока не будет. А ты вот что... читал ли сегодня по-французски?

– Читал, Иван Александрович. И арифметику делал. И у печки дрова сложил.

– Дрова – это хорошо. Дрова – это по-обломовски. – Гончаров усмехнулся краешком губ, и в этой усмешке была только теплота, без тени насмешки. – А ты знаешь, кто такой принц? Не настоящий, а так... прозвище?

Мальчик помотал головой.

– Бывал в Петербурге один чудак, – заговорил Гончаров, глядя не на мальчика, а куда-то в дождливое небо за окном. – Австриец. Принц де Линь. Остроумный был, весёлый и... ленивый, как черепаха. Так вот меня в молодости так прозвали. Принц де Лень. – Он засмеялся негромко, по-стариковски. – А я и не спорил. Потому что есть в этом, знаешь, своё достоинство: не бежать, не суетиться, не рвать жилы. По-честному смотреть на себя. Вон твоя сестрёнка, маленькая, – она не ленится, она живёт. А я... я иногда только живу и больше ничего не делаю. И это, брат, тоже ремесло.

Мальчик слушал, раскрыв рот. Он не понимал половины

слов, но чувствовал главное: этот грузный, медлительный человек в расстёгнутом сюртуке, с редкими седыми бакенбардами и руками, сложенными на животе, был с ним на равных. Ни снисхождения, ни барской ласки – простое человеческое сидение рядом и общее молчание.

Вошла кухарка Марфа – баба крутобокая, громогласная, вся в муке до бровей. Она шумно поставила на стол щи в глиняном горшке и рявкнула:

– Кушать подано, ваше благородие! А то у вас щи простынут, как в той песне.

Гончаров не обиделся. Он вообще никогда не обижался на простых людей – слишком хорошо помнил свою симбирскую дворню, слишком любил тот медленный, уютный быт, где всё течёт, как густая сметана. Он взял ложку, перекрестился неспешно на угол, где висела иконка, и сказал Марфе:

– А вы, матушка, не кричите. Я не глухой. И не барин я вовсе. Барин спит на том диване, а я так... старичок.

Марфа фыркнула, но улыбнулась, и ушла на кухню, где уже затевался пирог – его любимый, с луком и яйцом, тот самый, который пекли каждый год в день рождения, в Юрмале, на летней квартире, где он возил этих детей, этих «не своих», а ставших своими, с простыми именами и неуклюжими пальцами, которые он учил выводить французские глаголы.

Вечером, когда сумерки сгустились в синюю пахтань, Гончаров вышел гулять – под руку всё с тем же мальчиком. Ступал он мягко, в шлёпанцах, и казалось, что мостовая под ним

чуть проминается. Прохожие – и чиновник с портфелем, и барыня в кринолине, и студент с книгой под мышкой – все они скользили мимо, не узнавая. А он и рад был: узнают – начнутся разговоры, расспросы, а ему нужно только одно – тишина и чтобы кто-то держал его за локоть, потому что впотьмах он уже плохо видел.

– Саня, – сказал он вдруг. – А ты знаешь, что я написал роман про ленивого человека? И все подумали: ах, зло, ах, сатира. А я вовсе не зло. Мне его жалко. Того, кто на диване. Потому что он... он, может, один на всём свете не притворяется. Не суетится. Не силится казаться выше своего роста.

Мальчик молчал, потому что не знал, что ответить. Но он крепче сжал сухую, тёплую ладонь старика.

И они пошли дальше – два человека в петербургских сумерках, принц и его маленький рыцарь, без чинов, без званий, просто две живые души, которым завтра снова предстояло сидеть у окна, пить чай, учить уроки и быть счастливыми той особенной, обломовской, ни на что не похожей ленью, которую свет называет пороком, а Гончаров называл – жизнью.

Летний сад. Воскресенье

В воскресенье Гончаров вышел из дому рано – для него, разумеется. Для города это была уже почти полдень.

Он надел сюртук, который Марфа назвала «похоронным»,

шляпу с широкими полями, фасона «панамы, как у аптекаря», и взял под руку Саню. Мальчик сегодня был при параде – чистая рубашка, волосы зализаны мокрым гребешком. Ему очень хотелось мороженого.

Летний сад встретил их густой листвой и запахом нагретой земли. Гончаров ступал медленно, придерживаясь за чугунную решётку. Кругом гуляли: няньки в кумачовых платках толкали коляски; гимназистки в коричневых платьях хихикали, поглядывая на офицеров; какой-то важный старик в ленте через плечо читал газету на скамейке и то и дело поглядывал поверх очков – не идёт ли знакомый, с кем можно поклониться.

– Смотри, Саня, – сказал Гончаров, останавливаясь. – Это называется «общество». Каждый думает, что он смотрит на других. А на самом деле все смотрят на него. Смешно, правда?

Мальчик не понял, но засмеялся вежливо.

Они присели на скамью напротив пруда. Там плавали утки – грязные, нахальные, жирные. Какая-то барыня в кружевном зонтике бросала им булку. Рядом стоял её муж – мелкий чиновник, судя по лицу, замученный департаментом, и смотрел на уток с завистью: им не надо служить.

Гончаров узнал эту породу. Сам был такой двадцать лет назад.

– Иван Александрович, – спросил вдруг Саня, глядя на мальчика в матросском костюмчике, который катал обруч. –

А вы любили кого-нибудь? Ну, когда молодым были.

Гончаров помолчал. Ровно столько, сколько нужно, чтобы ответ не стал исповедью.

– Любил, милый. Очень. Но я... – он запнулся, подбирая слово, чтобы не соврать и не обидеть ребёнка, – я не умел жертвовать. Не умел бросаться в омут. Я стоял на берегу и думал: а не промокну ли я? А удобно ли там? А можно ли будет потом выйти и сесть в кресло?

Он усмехнулся своей усмешкой – половинной, виноватой.

– Так я и остался принцем. Без королевства.

Саня не знал, что ответить. Он потянул Гончарова к лотку с мороженым. Торговец – рябой мужик в фартуке, с седыми усами, в каких-то невероятных опорках – заулыбался, увидев подошедших.

– Барину? Крем-брюле? Ваниль?

– Мальчику, – сказал Гончаров, доставая кошелёк. – А я посмотрю. У меня желудок привередливый. Как герцог.

Мужик хмыкнул с пониманием. Он не знал, кто перед ним – писатель, чиновник, принц, – но сразу почувствовал: этот не будет торговаться, не будет надрывать глотку, не будет требовать сдачу до копейки. Этот заплатит и отойдёт в сторону, чтобы не мешать другим покупать.

– У нас, – сказал мужик, подавая мальчику вафельный стаканчик, – у нас в Смоленской губернии один барин тоже такой был. Умер, царствие небесное. А степенный – дай Бог каждому. Потому что от его лени всем спокойно было. Он

не строил, не рушил, не тягал людей по судам. Лежал себе и траву росой умывал.

Гончаров вдруг покраснел. Ему показалось, что мужик говорит о нём.

– Вот видишь, – сказал он Сане, когда они отошли. – Даже принцу бывает лестно, когда его сравнивают с травой.

Они постояли у фонтана. Гончаров долго смотрел на воду, падающую с мраморной чаши в мраморную чашу. Потом сказал тихо, не то мальчику, не то себе:

– Знаешь, что я понял к шестидесяти годам? Лень – это не порок. Это дар. Не всем дано остановиться и сказать: «Мне не надо казаться. Мне надо быть». А я вот смог. И даже книжку написал. И дети меня любят. И Марфа печёт ватрушки. И принцем зовут – пусть шуточно.

Он помолчал.

– Хватит с меня.

Солнце поднялось выше. Тени стали короче. Из сада потянулись к выходу – к обеду, к диванам, к газетам. Гончаров тоже повернул к решётке.

– Завтра, – сказал он мальчику, – завтра будем учить немецкий. Глаголы. Не лениться. А сегодня... сегодня можно.

И они пошли домой – медленно, как ходят люди, которым больше не нужно никуда опаздывать.

Лебяжья канавка. Вечерний час

Было около шести. Петербургский вечер уже тронул воду лёгкой рябью, ещё не потемневшей, но потерявшей дневную блескость – как бархат, который поносили, но не затёрли. Гончаров шёл вдоль Лебяжьей канавки один. Без мальчика, без Марфы, без палки – только шляпа и сюртук, и руки привычно за спиной, точно он нёс что-то тяжёлое и невидимое, может быть, собственную славу, а может, просто усталость.

Канавка в этот час была мало проходима. Узкий проток воды, стиснутый гранитом, тянулся от Невы к Марсову полю, и лебеди – белые, грязноватые снизу, потому что плавали по-хозяйски небрежно – скользили по ней с важностью отставных генералов. Гончаров любил это место. Здесь было тихо. Здесь не надо было кланяться. Здесь никто не ждал от него острот или глубоких мыслей – ни один знакомый литератор, ни один чиновник из тех, с кем он служил тридцать лет назад и кого теперь уже и не вспомнишь.

Он остановился у парапета. Вода пахла тиной, рыбой и чем-то ещё – старым деревом, намокшим камнем, Петербургом, который никогда не просыхает до конца.

– Ваше сиятельство, – сказал он сам себе шёпотом и усмехнулся. – Принц де Лень. Гуляет. Смотрит на лебедей. А роман? А критика? А письма от издателей? Всё лежит на столе. И прекрасно лежит. Отлёживается.

Он подумал о том, как однажды, ещё при жизни Николая

Первого, встретил на Невском настоящего принца – немецкого, проезжего, с орденами до подбородка. Тот шёл быстро, смотрел прямо, чеканил шаг. Гончаров тогда посторонился, пропуская, и подумал: «Какой у него порядок в голове. И в душе, наверное, тоже порядок. А у меня – облако. Тёплое, пушистое, бесформенное. Хорошо, что я не принц по рождению. Настоящему принцу нельзя было бы так стоять и смотреть на воду. Настоящий принц обязан куда-то идти».

Мимо прошла дама – лет сорока, в тёмно-синем платье и шляпке с вуалью. Она взглянула на Гончарова мельком, без узнавания, и пошла дальше, цокая каблуками по мосткам. За ней, отстав на десять шагов, плёлся господин в пенсне – вероятно, муж. Он нёс зонтик, хотя дождя не было, и поглядывал то на жену, то на лебедей, то в записную книжку, где, видимо, были записаны все его долги и тревоги.

Гончаров знал этот взгляд. Так смотрят люди, которые всю жизнь что-то доказывают. Доказывают, что они не хуже сослуживцев. Что жена не зря вышла замуж. Что дети не будут стыдиться. А потом умирают – и никто не помнит, что они доказывали.

«А я ничего не доказывал, – подумал Гончаров. – И что? Меня помнят. Парадокс».

Он перегнулся через парапет – неловко, грузно, потому что живот мешал, а поясница хрустнула. Лебедь, большой, наглый, с клювом, испачканным в тине, подплыл прямо к гранитной стенке и уставился на писателя жёлтым глазом.

Глаз был холодный, бездумный, чисто птичий. И прекрасный.

– Здравствуй, твоё благородие, – сказал Гончаров лебедю. – Ты тут главный? Похож. Шею держишь, как фельдмаршал. И никуда не спешишь. Лебединая лень – она ведь самая правильная. Потому что лебедь никому не должен. Он просто плавает и красив. А я должен – роман, письма, детям наследство оставить, Марфе на чай, чтобы не ворчала. Ты счастливее меня, ваше сиятельство птичье.

Лебедь отвернулся, показав белое, идеально чистое крыло, и поплыл к середине канавки, где вода была глубже.

В это время с противоположной стороны показался человек в форменной фуражке – смотритель садов, должно быть, или мелкий полицейский чин. Он шёл медленно, с клюкой, и вид имел самый унылый: так ходят люди, которым до пенсии ещё три года, а сил уже нет ни на что.

Поравнявшись с Гончаровым, он вдруг остановился, приложил руку к фуражке – неловко, по-старинному, без вытяжки – и спросил:

– Простите, сударь, не изволите знать, который час? У меня часы стали. Или я стал. То ли седьмой, то ли восьмой, а в уме путаница.

Гончаров достал луковицу – тяжёлую, серебряную, с цепочкой, подаренную кем-то из Майковых на сорокалетие – и сказал:

– Без четверти семь.

– Спасибо покорно, – вздохнул смотритель. – А то я как вышел, думал – семь часов ровно, а тут вона как. Время-то бежит. А мы стоим.

– Мы, – сказал Гончаров, пряча часы, – мы всегда стоим. В том и отличие нас от времени.

Смотритель посмотрел на него с недоумением, потом вдруг просиял:

– А, знаю! Вы писатель. Я вашу книжку читал. Про барина, который на диване. Хорошая книжка. Я ведь тоже так могу – лежать. И лежу. И не стыдно. Спасибо вам.

Он ещё раз козырнул и пошёл дальше, опираясь на клюку, такой же серый, как гранит, и такой же вечный.

Гончаров остался один. Сумерки сгустились. Лебеди превратились в белые пятна, потом в тени, потом в воспоминание о белизне. Фонари ещё не зажгли, но воздух уже стал синим, плотным, как чернила, разведённые водой.

Он подумал о детях, оставленных дома. О Сане, который учит немецкие глаголы без него, потому что обещал. О девочках, которые, наверное, уже набедокурничали с Марфой, потому что без него они всегда набедокурничают. О сорока тысячах, которые он завещал им – не огромное богатство, не княжество, а так, скромный узелок, чтобы не пропали в этом городе, который ест людей маленьких и слабых, но щадит ленивых, потому что с ленивых взять нечего.

– Пора домой, – сказал он вслух. – Лебеди лягут спать. Принцы – тоже.

Он повернулся и пошёл обратно – мимо зрителя, который уже сидел на скамейке и курил; мимо дамы в тёмно-синем, которую наконец догнал муж и теперь что-то быстро, раздражённо говорила ему; мимо Летнего сада, закрытого на ночь, – высокой чугунной решётки, за которой темнели аллеи, пустые и прекрасные в своей освобождённости от людей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.